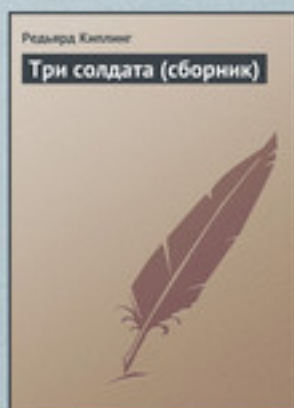


Редьярд Киплинг

Черный Джек



*Часть сборника
Три солдата (сборник)*



Три солдата

Редьярд Киплинг

Черный Джек

«Public Domain»

1888

Киплинг Р. Д.

Черный Джек / Р. Д. Киплинг — «Public Domain», 1888 — (Три солдата)

«Как три мушкетера делят серебро, табак и выпивку, как они защищают друг друга в бараках, в лагере, как все трое веселятся, узнав о радости одного, так и печали у них общие. Когда неудержимый язык Орзириса на целое лето завел его в карцер; когда Леройд потерял свою амуницию и одежду или когда Мельваней под влиянием излишка крепких напитков стал порицать своего офицера, вы могли бы видеть тревогу на лицах остальных двоих...»

Редьярд Киплинг Черный Джек

* * *

Как три мушкетера делят серебро, табак и выпивку, как они защищают друг друга в бараках, в лагере, как все трое веселятся, узнав о радости одного, так и печали у них общие. Когда неудержимый язык Орзириса на целое лето завел его в карцер; когда Леройд потерял свою амуницию и одежду или когда Мельваней под влиянием излишка крепких напитков стал порицать своего офицера, вы могли бы видеть тревогу на лицах остальных двоих. И весь полк знал, что неблагоприятно толковать или шутить по поводу неприятности, постигшей кого-нибудь из трех приятелей. Обыкновенно эти трое оставляют в стороне дежурную комнату и угловую лавку, которая стоит с ней рядом, уступая место еще не перебесившейся молодежи, но все случается...

Вот, например, Орзирис сидел на подъемном мосту перед главными воротами Форты Амара; он спрятал свои руки в карманы, изо рта у него свешивалась трубка. Леройд во всю длину растянулся на траве гласиса и размахивал ногами в воздухе; я вышел из-за угла и спросил, где Мельваней.

Орзирис плюнул в ров и покачал головой.

– Не стоит заходить к нему, – сказал он, – Мельваней – глупый верблюд. Слушайте.

Я прислушался. По каменным плитам веранды, которая прилегает к караульной комнате, звучали мерные шаги, и я мог бы принять этот стук за топот ног целой армии. Двадцать шагов *crescendo*, перерыв, потом двадцать шагов *diminuendo*.

– Это он, – объяснил мне Орзирис. – Боже мой, это он. И все из-за проклятой пуговицы, в которой вы могли бы увидеть часть вашего лица и кусочек губы.

Мельваней маршировал взад и вперед в полном походном костюме, со своим ружьем, штыком, ранцем и шинелью. И это должно было длиться несколько часов! Его вина состояла в том, что он явился на ученье в невычищенном мундире. От изумления и злости я чуть не свалился в ров форты: ведь Мельваней – самый щеголеватый малый, когда-либо стоявший на часах. Нельзя было представить себе, чтоб он вышел на смотр, не почистившись, как нельзя было подумать, что он мог выйти из барака без брюк!

– Кто из сержантов наказал его? – спросил я.

– Ну, конечно, Меллинс, – ответил Орзирис. – Никто другой не пригвоздил бы его. Но Меллинс не человек. Он грязный свиной скребок, вот что он такое!

– А что сказал Мельваней? Не такой он человек, чтобы подчиниться покорно.

– Что сказал? Лучше бы промолчал. Но, Господи, как мы хохотали! «Сержант, – это он говорит, – вы сказали, что я одет грязно? Ну-с, когда ваша жена позволит вам собственноручно высморкаться, может быть, вы узнаете, что такое грязь. Вы недостаточно хорошо воспитаны, сержант», – говорит он, но тут мы пришли. А после учения Меллинс ругал его и клялся перед дежурной комнатой, что Мельваней назвал его свиньей и еще Бог знает чем. Вы знаете Меллинса. Скоро он сломает себе шею. Уж слишком это необыкновенный лгун. «Три часа в походной форме, – объявил полковник, – не за грязный мундир на ученье, а за грубость, хотя, – прибавил он, – я не верю, чтобы вы сказали Меллинсу то, что, по его словам, вы сказали». – Мельваней молча ушел. Вы знаете, он никогда не отвечает полковнику, чтобы не попасть в новую беду.

Меллинс – молодой и женатый сержант, его манеры отчасти результат врожденной резкости, отчасти плод плохо переваренного образования в закрытой школе. Он перешел через мост и грубо спросил Орзириса, что он делает.

– Я? – переспросил Орзирис. – Да жду офицерского чина. Не видали ли, не идет ли он сюда?

Меллинс побагровел и прошел мимо. С того гласиса, на котором лежал Леройд, донесся звук легкого смешка.

– Меллинс надеется, что его когда-нибудь произведут, – объяснил Орзирис. – Да спасет Господь товарищей, которым придется сидеть с ним за столом! Как вы думаете, сэр, который час? Четыре! Через полчаса Мельваней освободится. Не хотите ли вы, сэр, купить собаку? Щенок, которому можно доверять, от полковничьей серой, рампурских кровей.

– Орзирис, – сурово ответил я, понимая, что он задумал, – не хотите ли вы сказать...

– Я не хотел просить денег, во всяком случае, – ответил Орзирис. – Я дешево продал бы вам хорошую собаку, но... но... видите ли, я знаю: Мельваней потребует выпивки после того, как мы «выводим» его, а у меня нет ни пенни, да и у него пусто в кармане. Я хотел продать вам собаку, сэр, искренне хотел.

На подъемный мост упала тень, Орзирис начал подниматься в воздухе под влиянием огромной руки, схватившей его за шиворот.

– Все, только не деньги, – спокойно сказал Леройд, держа лондонца надо рвом. – Что угодно, только не деньги, Орзирис, мой сынок. У нас есть рупия и восемь анна, мои собственные. – Он показал мне монеты и опустил Орзириса на перила подъемного моста.

– Прекрасно, – сказал я. – Куда вы отправитесь?

– Когда его отпустят, отправимся за две, за три или за четыре мили, – ответил Орзирис.

Шаги прекратились. Я услышал глухой стук ранца, упавшего на постель, потом дробный звук оружия. Через десять минут безупречно одетый Мельваней со сжатыми губами и с лицом темным, как грозовая туча, появился на залитом солнечными лучами подъемном мосту. Леройд и Орзирис кинулись навстречу освобожденному и прислонились к нему, как лошади к дышлу. Еще мгновение, и три друга исчезли, уходя по дороге; я остался один. Мельваней не нашел нужным узнать меня, и я понял, что он сильно взволнован.

Я поднялся на один из бастионов и провожал глазами трех мушкетеров; их фигуры двигались через равнину, удалялись, становились меньше. Они шагали быстро и не поднимали голов. Вот мушкетеры обогнули учебную площадку, миновали стоянку кавалерии, наконец, исчезли в том поясе деревьев, который окаймляет приречную ложбину.

Я поехал за ними верхом и скоро заметил их; запыленные, покрытые потом, они большими шагами упруго двигались по берегу реки. Мушкетеры пробрались сквозь лесную чащу, направились к плавучему мосту и скоро расположились на одном из его понтонов. Я ехал осторожно, пока не увидел, что над рекой потянулись белые клубы дыма, которые растаяли в ясном вечернем воздухе, по этому признаку я понял, что мои друзья успокоились. Они заметили меня и стали приветливо звать к себе.

– Привяжите вашу лошадь, сэр, – крикнул мне Орзирис, – и пожалуйста сюда. Мы все отправимся домой в этой лодке.

От начала моста до бунгало лесничего всего один шаг. Заведующий столовой был тут же и любезно предложил мне свои услуги. Он поручит кому-нибудь лошадь сахиба. Не желает ли сахиб еще чего-нибудь? Стаканчик виски или, может быть, пива? Риттчи-сахиб оставил около полдюжины бутылок пива, и так как сахиб – друг Риттчи-сахиба, а он, заведующий столовой, бедняк...

Я дал ему несколько приказаний и вернулся к мосту. Мельваней скинул сапоги и опустил ноги в воду; Леройд растянулся на спине; Орзирис делал вид, будто он гребет большой бамбуковой тростью.

– Я старый дурак, – задумчиво произнес Мельваней. – Глупо, что я увел вас сюда, увел, потому что злился, точно ребенок. Это я-то? Ведь я уже был солдатом, когда Меллинс – будь он проклят, – пищал в люльке, взятой на прокат за пять шиллингов в неделю, которых никто не платил. Ребята, я увел вас за пять миль просто из-за естественного озлобления. Фу!..

– Ну что за беда, раз ты доволен? – заметил Орзирис, снова берясь за бамбук. – Не все ли равно, здесь мы или в другом месте?

Леройд показал рупию и монету в восемь анна и покачал головой:

– Мы ушли за пять миль от лагеря из-за отчаянной гордости Мельваней.

– Знаю, – с раскаянием согласился Мельваней. – Зачем вы пошли со мной? А между тем я до смерти огорчился бы, если бы вы когда-нибудь отказались сделать это, хотя я настолько стар, что мне следовало бы понимать людей. Но я накажу себя – напьюсь воды.

Орзирис визгливо захохотал. Буфетчик бунгало лесничего стоял с корзиной возле перил моста, не решаясь спуститься на понтон.

– Следовало знать, сэр, что вы даже в пустыне достанете что-нибудь хорошее для выпивки, – любезно сказал мне Орзирис. Потом прибавил, обращаясь к буфетчику: – Осторожнее с бутылками. Они на вес золота. Джо, ты – длиннорукий, возьми их.

Леройд мгновенно перенес корзину на понтон, и три мушкетера с жаждущими губами склонились над ней. Со старинными формальностями солдаты выпили за мое здоровье; после пива табак показался особенно хорош. Три друга уничтожили все пиво, разлеглись в живописных позах и любовались закатом; некоторое время все молчали.

Голова Мельваней опустилась на грудь, и нам показалось, что он заснул.

– Зачем вы ушли так далеко? – спросил я Орзириса.

– Чтобы «выводить» Мельваней, то есть прогулкой успокоить его. Когда у него неприятности, мы всегда «выводим» его. В такое время с ним не следует разговаривать, да и оставлять его одного тоже не годится. Поэтому мы водим его, пока не увидим, что он способен говорить и находиться в одиночестве.

Мельваней поднял голову, глядя прямо на закат.

– У меня было ружье, – задумчиво проговорил он, – и штык тоже, а Меллинс из-за угла глянул мне прямо в лицо и насмешливо ухмыльнулся. «Можете сами утереть себе нос», – говорит. Ну я не знаю, что видел в жизни Меллинс, но в эту минуту он был ближе к смерти, чем когда-либо бывал я, а я бывал меньше чем на волосок от нее.

– Да, – спокойно проговорил Орзирис, – красив был бы ты безо всех твоих пуговиц, с оркестром впереди! Когда полк строит в каре, мне и Джеку приходится стоять в первом ряду. Чертовски хорош был бы ты. Господь дает и Господь отнимает, да будет благословенно имя Господне! – прибавил он странным, многозначительным тоном.

– Меллинс? Ну что такое Меллинс? – протянул Леройд. – Я мог бы одной рукой, заложив другую за спину, захватить целый отряд таких Меллинсов. Полно, Мельваней, не дури!

– Тебя не брали под арест за то, что ты не делал, и после этого не насмехались над тобой. За меньшие дела тайронцы отправили бы в ад сержанта О'Хара, если бы в это время его не застрелил Рафферти, – заметил Мельваней.

– А кто остановил тайронцев? – спросил я.

– Тот самый старый дурак, который жалеет, что он не исколотил свинью Меллинса, – ответил мне Мельваней. Его голова снова поникла. Когда он опять поднял ее, все его тело вздрагивало, и он положил руки на плечи своих товарищей.

– Вы изгнали из меня дьявола, ребята, – сказал он.

Орзирис выколотил о свой волосатый кулак раскаленную золу из трубки.

– Говорят, будто ад еще жарче, чем вот такая зола, – сказал он, прислушиваясь к ругательствам Мельваней, – знай это. И посмотри туда. – Он протянул руку по направлению к разрушенному храму на противоположной стороне реки. – Я, ты и он, – кивком головы Орзирис

указал на меня, – были однажды там, когда я давал людям представление. И вы остановили меня. А вот теперь ты даешь нам еще худшее представление.

– Не обращайтесь на меня внимания, Мельваней, – сказал я. – Дина Шад не позволит вам повеситься, да и вы сами не намереваетесь сделать это. Расскажите нам лучше о тайронцах и сержанте О'Хара. Рафферти застрелил его за то, что он ухаживал за его женой? А что было раньше?

– Глупее всех дураков – дурак старый. Вы отлично знаете, что, когда я примусь болтать, со мной можно сделать что угодно. Не говорил ли я, что мне хотелось бы вырезать у Меллинса печенку? Теперь я отказываюсь от этого, так как боюсь, что Орзирис донесет на меня. Ага, ты стараешься столкнуть меня в реку, малыш? Ведь правда? Сиди, коротышка. Во всяком случае, Меллинс не стоит того, чтобы меня под музыку поставили перед строем моих товарищей, и я буду выказывать ему оскорбительное пренебрежение... Тайронцы и О'Хара! О'Хара и тайронцы!.. Да, да. Трудно говорить о старых днях, но о них всегда помнишь.

Наступило продолжительное молчание.

– О'Хара был сущий дьявол. Правда, я спас его от смерти, ради чести полка, но теперь говорю, что он был дьявол, длинный, смелый, черноволосый дьявол.

– В чем это?.. – спросил Орзирис.

– Насчет женщин.

– В таком случае я знаю кое-кого другого в том же роде.

– Если ты говоришь обо мне, я ухаживал за девушками, и благоразумно. Я был молод... Когда я был капралом, разве я пользовался моим чином... Один шаг – и меня лишили чина, и тем сильнее винил я себя... Разве я пользовался чином, чтобы вести гнусные интриги, как О'Хара? Разве, будучи капралом, я издевался над кем-либо? Разве я устраивал кому-нибудь собачью жизнь день изо дня? Разве я лгал, как лгал О'Хара, до того, что молодежь бледнела, опасаясь, что Божий суд сразу убьет всех, как была убита женщина в Девизисе? Нет! Я грешил и исповедовался, и отец Виктор знает мои худшие грехи. О'Хара умер, не успев выговорить ни слова покаяния, умер на пороге дома Рафферти, и никто не узнал о нем самого худшего. Но я-то знаю!..

В былые дни тайронцы набирались с бору по сосенке. Часть – из Конемары, часть – из Портсмута; часть (особенно дурная) – из Керри; отсюда, отсюда, отовсюду, но больше всего там было ирландцев, мрачных, черных ирландцев. Ну-с, доложу вам, что ирландцы бывают хороши, как самые лучшие люди, или хуже самых худших. Так-то. Они знакомятся между собой быстро, как воры, и никто не знает, что они затеяют, пока один из них не окажется ябедником; тогда их общество рассыпается. Но пройдет день, другой – все начинается снова; они толпятся по углам, по закоулкам и дают кровавые клятвы; один закалывает своего врага в спину и убегает, потом все ждут объявления в газетах о цене за поимку преступника, чтобы видеть, стоит ли овчинка выделки. Таковы-то черные ирландцы, они позорят имя Ирландии, и каждого из них я готов убить... как я однажды чуть было не убил такого молодчика.

Но вернемся к делу. В моей казарменной комнате (тогда я не был женат) помещалось еще двенадцать человек, низких подонков, поднятых из грязи; это были неблагородные малые, которые ни смеялись, ни говорили, ни напивались, как подобает порядочному человеку. Несколько раз они пытались сыграть со мной скверные шутки, но я обвел черту вокруг моей кровати, и тот, кто переступал ее, после этого дня три лежал в госпитале.

О'Хара возненавидел нашу комнату (он был мой сержант), и мы никак не могли угодить ему. В те времена я, как человек молодой и горячий, не принимал наказаний молча; язык мой так и болтался, но и только. Не то было с другими; почему – не могу сказать; может быть, просто некоторые люди рождаются подлыми и доходят до убийства в тех случаях, когда кулака более чем достаточно. Через некоторое время мои товарищи стали отчаянно вежливы со мной, и вся их дюжина проклинала сержанта О'Хара.

– Да, да, – говорил я, – О'Хара – дьявол, не стану спорить, но разве только он один на свете? Оставьте его в покое. Ему надоест вечно находить, что наша амуниция грязна и что мы держим наше платье в плохом состоянии.

– Ну нет, это ему так не пройдет! – отвечают они.

– Так расправьтесь с ним, – говорю я, – потом сами же и вззоете.

– Он неприлично любезничает с женой Слимми, – заметил один из малых.

– Она всегда вела себя таким образом, – отвечаю я. – Почему это вас возмутило?

– Разве он не преследует нашу казарму? Можем ли мы сделать хоть что-нибудь, чтобы он не отругал нас? – сказал другой.

– Правильно, – говорю.

– А вы не поможете нам сделать что-нибудь? – попросил третий. – Ведь вы такой рослый, смелый детина.

– Если он поднимет на меня руку, я разобью ему голову, – говорю, – если он скажет, что я неопрятен, я крикну ему, что он лжет, и я охотно сунул бы его в артиллерийскую водопойку, если бы не ждал нашивок.

– Только-то? – сказал один солдат. – Разве у вас нет смелости? Ах вы, бескровная телятина!

– Может быть я и бескровный, – сказал я, отступая к моей койке и проводя вокруг нее черту, – только вы знаете, что тот, кто перешагнет через эту черту, станет еще бескровнее меня. Никто не смеет ругать меня в лицо. Поймите, я не хочу участвовать в том, что вы затеяли, и не подниму руку на человека, который по чину старше меня. Перешагнет ли кто-нибудь черту? – спрашиваю.

Никто не двинулся, хотя я не торопил их. Они собрались в дальнем углу комнаты, ворчали и рычали. Я взял свою фуражку, мысленно расхваливая себя, пошел в погребок и скоро напился до неприличия; вино ударило мне в ноги, голова же оставалась благоразумной.

– Хоулиген, – сказал я малому из роты Е (он был мой друг), – я пьян, начиная от поясницы до ступней. Позволь-ка мне опереться на твое плечо; поддержи меня и отведи в высокую траву. Там я просплюсь. Хоулиген (он умер, но славный был парень) поддержал меня; с ним мы дошли до высокой травы и, ей-ей, небо и земля передо мной вертелись. Я лег среди самых густых зеленых стеблей и там со спокойной совестью заснул. Мне не хотелось, чтобы меня слишком часто записывали в книгу; добрую половину года мое поведение было безупречным.

Когда я поднялся, опьянение почти испарилось, но я испытывал такое ощущение, точно у меня во рту сидела кошка со своими новорожденными котятками. В те дни я еще не умел выносить спиртные напитки. Теперь я стал покрепче.

«Попрошу-ка я Хоулигена окатить мне голову ведром воды», – подумал я и хотел уже встать, как услышал, что кто-то говорит:

– Обвинят этого увертливого пса, Мельванея.

«Ого, – подумал я, и у меня в голове пошел такой звон, точно в караульной комнате ударили в гонг. – Какую вину должен я принять на себя из любезности к Тиму Вельме?» Дело в том, что говорил именно Тим Вельме.

Я повернулся на живот и потихоньку, рывками, пополз в траве, направляясь в сторону голосов. Все двенадцать из моей комнаты сидели кучкой; сухая трава качалась над их головами; черное убийство было в их сердцах. Я слегка раздвинул высокие стебли, чтобы лучше видеть.

– Что там? – сказал один и вскочил.

– Собака, – ответил Вельме. – Мы отлично устроим эту штуку и, как я уже говорил, вину свалим на Мельванея.

– Тяжело лишить жизни человека, – заметил один молодой малый.

«Покорно благодарю, – подумал я. – Ну что же они затеяли? Что задумали против меня?»

– Это так же легко, как выпить кружку пива, – сказал Вельме. – В семь часов или около того О'Хара пройдет к помещениям женатых, чтобы навестить жену Слимми. Один из нас шепнет об этом остальным, и мы поднимем дьявольскую свистопляску: примемся смеяться, кричать, стучать, топтать ногами. О'Хара выбежит и прикажет нам сидеть тихо; в суматохе наша лампа будет разбита. Он прямехонько побежит к задней двери, туда, где на веранде висит лампа, и, таким образом, очутится как раз против света. В темноте он ничего не разглядит. Один из нас выстрелит; стрелять придется почти в упор и стыдно будет промахнуться. Возьмем ружье Мельванея: оно первое на стойке; не узнать его даже в темноте нельзя: оно с таким длинным дулом и такое неуклюжее.

Этот мошенник ругал мою старую винтовку из зависти, я уверен в том. Эти его слова рассердили меня больше всего остального.

Вельме продолжал:

– О'Хара упадет, и к тому времени, как лампу снова зажгут, шесть малых навалятся на грудь Мельванея с криком: «Убийство и грабеж!» Койка Мельванея возле задней двери, а дымящееся ружье будет под ним; мы скинем на пол этого молодчика. Мы знаем, знает и весь полк, что Мельваней бранил сержанта О'Хара чаще, чем кто-либо из нас. Кто во время военного суда усомнится в его вине? Разве двенадцать честных малых решатся дать под присягой такое показание, из-за которого лишится жизни милый, спокойный, кроткий человек, вроде Мельванея, человек, очертивший круг около своей койки и грозивший убить всякого, кто переступит черту!.. А мы единогласно подтвердим обвинение.

«Святая Мария, милосердная мать! – подумал я. – Вот что значит не владеть собой и всегда держать наготове кулак! О низкие псы!»

Крупные капли потекли по моему лицу; ведь я ослаб от выпивки, и в голове у меня было не вполне ясно. Лежа тихо, я слышал, как они готовились отправить меня на тот свет рассказами о том, что мой кулак отмечал то одного из них, то другого; и, клянусь, немногие из них не получили такого отличия. Но все это бывало во время честных драк, и я никогда не поднимал руки, если меня не доводили до этого.

– Прекрасно, – сказал один из них. – Но кто выстрелит?

– Не все ли равно? – ответил Вельме. – Выстрелит Мельваней... для военного суда.

– Конечно, – сказал спрашивавший. – Но чья рука нажмет на курок... в комнате?

– Кто желает? – спросил Вельме, оглядываясь кругом. Но все молчали, потом начали спорить, наконец, Кисс, который вечно возится с картами, говорит:

– Бросим жребий, – и он вынул из-за пазухи засаленную колоду; все остальные согласились на его предложение.

– Тасуй, – сказал Вельме и грязно выругался. – И пусть будет проклят тот, кто не исполнит того, что ему судит жребий! Аминь!

– Черный Джек решит дело, – сказал Кисс, тасуя карты.

Нужно вам объяснить, сэр, что Черный Джек это – туз пик, и эта карта с незапамятных времен всегда имела отношение к битвам, убийству и ко внезапной смерти.

Кисс сдает первый раз, туза нет. Все бледнеют. Второй раз Кисе сдает, на их лицах проступает серый оттенок испорченного яйца. В третий раз сдает Кисе, и их лица синеют.

– Не потерял ли ты его? – говорит Вельме и отирает с лица пот. – Скорее! Торопись!

– Я-то тороплюсь, – говорит Кисе, бросая ему карту. Она упала на колени Вельме рисунком вверх – Черный Джек!

Остальные загоготали.

– Ему стоит дать три пенни, – говорит один из них, – и то дешево за такое представление.

Тем не менее я видел, что все они слегка отступили от Вельме, предоставив ему перебирать карты. Некоторое время он молчал и облизывал губы, как кошка; потом вскинул голову и заставил своих товарищей поклясться всеми известными клятвами, что они будут поддержи-

вать его не только в казарме, но и во время суда... надо мной. Вельме выбрал пятерых крупных малых, поручив им после выстрела прижать меня к койке; еще одному велел потушить лампу, наконец, последнему – зарядить мое ружье. Сам зарядить его он не хотел. Странно! Ведь в сравнении с остальным это было сушей безделицей.

Они еще раз поклялись не выдавать друг друга, потом расползлись по высокой траве в разные стороны, все парами. Хорошо, что никто из них не натолкнулся на меня. Мне было тошно, противно, противно, противно! Когда они ушли, я вернулся в погребок и потребовал кружку пива, чтобы опохмелиться. В распивочной уже сидел Вельме; он пил много и обращался со мной беспримерно вежливо.

«Что мне делать? Что мне делать?» – подумал я, когда Вельме ушел.

Вот входит оружейный сержант, недовольный, сердитый на всех, раздраженный; дело в том, что в те времена ружья Мартини-Генри были новинкой в нашем полку, и мы плохо разбирались в механизме этих ружей. Очень долгое время меня так и тянуло после выстрела двинуть назад затвор и перевернуть ружье, точно мушкет Снайдера.

– Каких сапожников мне поручили обучать! – сказал оружейный сержант. – Вот, например, Хоген неделю валяется в лазарете с носом, плоским, как столовая доска, и каждый-то, каждый малый в нашей роте то и дело разбирает ружье на части.

– Что случилось с Хогеном, сержант? – спрашиваю я.

– Случилось? – отвечает он. – Я заботливо, как мать своего ребенка, учил его разбирать «Тини», и он сделал это как следует и без труда. Тогда я велел ему снова собрать ружье, зарядить холостым патроном и пальнуть в яму. Он сделал это, но не вставил на место штифт откидного затвора. Не мудрено, что едва он выстрелил, затвор отскочил прямо ему в лицо. На счастье дурака, патрон был холостой; настоящий заряд начисто выбил бы ему глаз.

Я смотрел на сержанта взглядом, чуть-чуть поумнее взгляда вареной овечьей головы.

– Как так, сержант? – спрашиваю.

– А вот как, невежда, не делай этого, – ответил он и показал мне испорченное ружье: его приклад отлетел, и можно было видеть весь внутренний механизм. Сержанту до того хотелось ворчать и жаловаться, что он два раза показал на деле ошибку Хогена. – И все из-за незнания оружия, которое вам дают, – прибавил он.

– Спасибо, сержант, – проговорил я, – я еще зайду к вам, чтобы услышать новые наставления.

– Не стоит, – ответил он, – делайте, как я сказал вам.

Я вышел из погреба, чуть не прыгая от восторга.

– Они зарядят мое ружье, когда меня не будет в комнате, – сказал я себе. – Желаю им счастья!

Сделав несколько шагов, я вернулся в погребок, чтобы они успели распорядиться...

Вечерело, погребок наполнялся народом. Я притворился пьяным; все мои товарищи по комнате входили друг за другом, пришел и Вельме. Тогда я тяжелыми шагами, покачиваясь, побрел домой, судя по виду, не настолько пьяный, чтобы меня могли арестовать.

В казарме не было ни души. Вот один патрон исчез из моего патронташа и уютно улегся в моем ружье. Я весь горел от бешенства на моих товарищей, однако предварительно выкусил пулю из патрона. Потом с одной своей ноги я снял сапог и с помощью шомпола для чистки дула выбил им из затвора штифт. О, когда этот шпенек звякнул о пол, мне показалось, что я слышу музыку. Я спрятал штифт в карман, замазал отверстие, затвор же опустил на место; с виду ружье было в порядке.

– Вот тебе, Вельме, – сказал я и растянулся на койке. – Можете хоть все двенадцать навалиться на мою грудь, и я прижму к своему сердцу вас, самые отчаянные дьяволы, которые когда-либо обманывали людей. – Я не жалел Вельме. Его глаз или жизнь – мне было все равно!

В сумерки они вернулись; вся дюжина, и все слегка пьяные. Я лежал и притворялся спящим. Один солдат вышел на веранду. Он свистнул; остальные принялись бесноваться и подняли ужасную кутерьму. Не хотел бы я еще когда-нибудь слышать такой хохот, как тогда, хотя бы во время кутежа. Они походили на взбесившихся шакалов.

– Смирно! Что это за безобразие! – крикнул О'Хара. Тут наша лампа полетела на пол. Я услышал, что О'Хара бежит к веранде; мое ружье застучало на стойке; донеслось до меня и тяжелое дыхание людей, окруживших меня. При свете лампы на веранде я разглядел фигуру сержанта О'Хара и тотчас же услышал выстрел моего ружья. Громко крикнуло оно, милое, бедное, от дурного обращения. В следующую минуту пятеро малых накинудились на меня.

– Тише, тише, – говорю, – из-за чего шум?

А Вельме поднял вой, который вы слышали бы в самом конце лагеря.

– Я умер, меня убили, я ослеп! – кричал он. – Да смилостивятся святые над моей грешной душой! Пошлите за отцом Константином! О, пошлите за отцом Константином, дайте мне перед смертью очистить мою душу! – Тут я понял, что, к сожалению, он остался жив.

О'Хара принес с веранды лампу, рука его была тверда, и сам он был спокоен.

– Это что за скверная шутка? – сказал он и осветил Тима Вельме, который плавал в крови. Полный заряд пороха отбросил куда-то затвор. Откусив пулю, я всунул в патрон его медную часть, и лицо Тима было разрезано от верхней губы до угла правого глаза. Его веко висело лохмотьями, и рана шла через лоб до волос. Она походила скорее на борозду плуга, чем на чистый разрез, и, по совести, никогда не видывал я, чтобы человек так обливался кровью, как Вельме. Выпивка и злоба с силой выдавливали из него кровь. Едва сидевшие у меня на груди малые слышали голос сержанта, каждый из них шмыгнул к своей койке, и все вежливо закричали:

– В чем дело, сержант?

– В чем? – сказал О'Хара, встряхивая Тима. – Сами отлично и прекрасно знаете, в чем дело, вы, притаившиеся, шмыгающие по грязным рвам псы. Достаньте носилки и унесите этого хныкающего мошенника. Вы услышите об этой истории больше, чем вам может понравиться.

А Вельме уже сидел, закрыв голову руками, он раскачивался из стороны в сторону и со стоном звал отца Константа.

– Молчать, – сказал О'Хара и потащил его за волосы к выходу. – Не настолько ты умер, чтобы не отбыть пятнадцать лет за покушение застрелить меня.

– Нет, я этого не делал, – ответил Вельме, – я хотел сам застрелиться!

– Странно, – проговорил О'Хара. – Почему же тогда моя куртка почернела от пороха? – Он поднял еще горячее ружье и засмеялся. – Я сделаю вашу жизнь адом, – прибавил он, – за попытку меня убить и за то, что вы держали ружье в беспорядке. Сперва вас повесят, а потом заупорят. Ружье погибло.

– Да ведь это мое ружье, – сказал я, подойдя и осмотрев его. – Вельме, дьявол, что вы сделали с ним? Отвечайте.

– Оставьте меня в покое, – проговорил Вельме, – я умираю.

– Подожду, чтобы вы поправились, – говорю я, – а потом выясним недоразумение.

О'Хара не слишком-то нежно поднял Тима на носилки, все мои товарищи стояли возле своих коек, но это не служило признаком их невинности. Я повсюду разыскивал оторванную часть моего ружья, но не находил ее. Так и не нашел.

– Ну, что мне теперь делать? – сказал О'Хара, покачивая лампу в руке и оглядывая комнату.

Я ненавидел и презирал сержанта О'Хара, да и теперь ненавижу и презираю его, хотя он умер; а все-таки скажу, что он был храбрый человек. В настоящее время его подогревают в чистилище, но мне хотелось бы дать ему знать, что, глядя на него в ту минуту, когда он

стоял посреди комнаты, и все они дрожали под его взглядом, я считал его храбрецом. Таким он нравился мне.

– Что мне делать? – опять сказал О'Хара, и в то же мгновение с веранды долетел до нас нежный и тихий женский голос.

Жена Слимми прибежала на выстрел и села на одну из скамеек, так как еле держалась на ногах.

– О, Денни, Денни, – прошептала она. – Они вас убили?

О'Хара улыбнулся, показав свои белые зубы и плюнув на пол.

– Вы не стоите этого плевка! – проговорил он. – Зажгите лампу, вы, собаки! – И, сказав это, сержант повернулся, и я скоро увидел, как он шел от нашего барака вместе с женой Слимми; она старалась своим платком счистить пороховую сажу с его куртки.

«Вот, – подумал я, – храбрый человек и дурная женщина».

Довольно долго никто не проронил ни слова. Им было стыдно, стыдно невыразимо.

– Как вы думаете, что он сделает? – наконец сказал один из малых. – Он знает, что все мы замешаны в деле.

– Все замешаны? – говорю я со своей койки. – Тот, кто скажет это мне, пострадает. Я не знаю, какую тайную мерзость задумали вы, только, судя по всему, что мне довелось видеть, я понимаю, что вы не в силах совершить убийства чужим ружьем – уж слишком вы низменные, дрожащие трусы. Я сейчас засну, – прибавил я, – и вы можете во время сна выстрелом разбить мне голову.

Тем не менее я долго не засыпал. Разве можно этому удивляться?

На следующее утро новость разошлась по всему полку; и чего-чего только не рассказывали! О'Хара же просто и ясно рапортовал, что с Вельме случилась беда, так как он в бараке возился со своим ружьем, чтобы показать товарищам механизм «Тини». И, клянусь душой, он имел дерзость сказать, что в то время был на своем месте и мог удостоверить, что это был несчастный случай. Когда мои товарищи по комнате услышали о его рапорте, они так ослабли, что, право, вы могли бы их свалить соломинкой. На их счастье, все солдаты вечно рассматривали устройство новых ружей, и многие из них старались облегчать действие пружины, затыкая кусочками травинки и тому подобными вещами часть затвора близ собачки. Механизм первых ружей «Тини» не был закрыт, и я сам время от времени проделывал такие штуки, чтобы пружина ходила легче. Когда я затрачиваю меньше силы, мне удастся стрелять в десять раз более метко.

– Довольно глупостей, – сказал полковник, – я прикручу ему хвост, – но, увидев в госпитале Вельме, который был весь забинтован и стонал, он переменял намерение. – Поправьте-ка его скорее, – сказал он доктору. И раненого действительно скоро выписали из лазарета. Его огромные, пропитанные кровью бинты и перекошенное, распухшее лицо сильнее действовали на наших малых, чем наказания; вид Вельме заставил их бросить возню с механизмом ружей.

О'Хара не сказал нам, почему он таким образом объяснил дело полковнику; мои товарищи по комнате радовались счастливому исходу и не расспрашивали его. И он стал еще больше прежнего презирать их.

Вот раз сержант вежливо (О'Хара мог быть вежлив, когда хотел) отозвал меня в сторону и сказал мне:

– Вы хороший солдат, хотя чертовски дерзкий человек.

– Выбирайте выражения, сержант, – говорю я. – Не то я, пожалуй, снова стану дерзким.

– На вас не похоже, – продолжал он, – чтобы вы оставили ваше ружье без штифта затвора, а ведь именно в таком виде Вельме выстрелил из него. И я нашел бы штифт где-нибудь в щелке или в углублении пола.

– Сержант, – говорю я, – где была бы ваша жизнь, если бы штифт сидел на месте? Моя жизнь тоже ничего не стоила бы, клянусь вам своей душой, если бы я объяснил – был вставлен штифт на место или нет. Еще благодарите, что пуля не сидела в патроне...

– Правда, – отвечает он, подергивая свои усы. – Только, что бы вы ни говорили, я не поверю, будто вы замешаны в это дело.

– Сержант, – говорю я, – я могу ровно в десять минут выколотить кулаками жизнь из не угодившего мне человека; я хороший солдат, желаю, чтобы со мной обращались, как с порядочным солдатом, и пока мои кулаки принадлежат мне, они будут всегда достаточно сильны для той работы, которую я пожелаю поручить им. Кулаки не отлетают мне в лицо, – прибавляю я и смотрю ему прямо в глаза.

– Вы хороший человек, – говорит он, тоже глядя мне в глаза, – и, Боже ты мой, как приятно было видеть его в ту минуту. – Хороший вы человек, – повторяет он, – и хотелось бы мне, просто ради забавы, чтобы я не был сержантом или вы не были рядовым; только не считайте меня трусом за эти слова.

– Не считаю, – говорю я. – Я видел вас, когда Вельме возился с ружьем. Но, сержант, – прибавляю, – послушайтесь моего совета (я говорю с вами, как человек с человеком, и забываю о ваших нашивках). Так вот: на этот раз с вами не случилось беды; может быть, не случится и в следующий, но в конце концов, наверно, случится – и большая беда. Подумайте, сержант, стоит ли?

– Вы храбрый человек, – сказал он, с трудом переводя дух. – Очень храбрый. Но и я храбрый. Идите своим путем, рядовой Мельваней, а я пойду своим.

Больше мы с ним не разговаривали ни в этот раз, ни позже, но он, одного за другим, вытеснил всю дюжину из моей комнаты, рассеял их по ротам и отрядам; такой породе не следовало жить вместе; скоро офицеры сами поняли это. Мои бывшие товарищи застрелили бы меня ночью, узнай они то, что я знал; только они этого не знали.

В конце концов О'Хара встретил смерть от рук Рафферти. Он шел своим путем, слишком упорно шел; да, слишком. Он не сворачивал ни вправо, ни влево, и да сжалится Господь над его душой. Аминь.

– Слушайте, слушайте, – произнес Орзирис, покачивая своей трубкой и как бы припечатывая мораль. – И только подумать: он, Мельваней, сам мог превратиться во второго дурацкого Вельме из-за какого-то Меллинса и проклятой пуговицы. А Меллинс никогда не ухаживал за чужими женами. Только раз миссис Меллинс увидела, как он...

– Орзирис, – быстро остановил я его, потому что романы рядового Орзириса бывали слишком смелы для печати. – Посмотрите на солнце, четверть седьмого.

– О, Господи! За три четверти часа нам нужно пройти пять с половиной миль, придется бежать бегом.

Три мушкетера поднялись на мост и быстро направились к дороге в лагерь. Догнав их, я предложил им взяться за мои стремяна и за хвост моей лошади; они с восторгом приняли это предложение. Орзирис ухватился за хвост. Таким вот образом мы ровной рысью двигались по безлюдной дороге.

На повороте к лагерю до нас донесся стук колес экипажа. Катилась коляска; в ней сидели жена полковника и его дочь. До меня донесся сдавленный смех, и мой конь, облегченный, понесся вперед.

Три мушкетера исчезли в темноте ночи.